Девяносто восьмой год, закат века, закат тысячелетия... Поседевшие диссиденты, отстрелявшие свою молодую ненависть еще в шестидесятых-семидесятых. И — книга избранной лирики Натальи Горбаневской, которая озаглавлена "Не спи на закате". Сразу же отзывается эхом 56-го года пастернаковское "Не спи, не спи, художник", напечатанное тогда в московском "Дне поэзии". Тем же годом помечены первые стихи в сборнике Горбаневской — отражения, эпохотипные отзвуки и отклики, исторические и художественные (будь то скульптура, музыка, чужая поэзия или даже чужие языки), для нее всегда были характерны.

Помнится, начинающий литературовед Гаррик Левинтон заполнял наши прогулочные или застольные беседы на Петроградской стороне мгновенными цитатными рядами, вылетающими из каждой строки Горбаневской. Невольно думаешь: вот бы сейчас начать ее сборник такой интеллектуальной зарядкой, но уже не импровизационной, а продуманной и отчеканенной. Как было бы хорошо настроить слух и воображение читателей умным и дружественным вступлением!

Но — нет, и роль читательского поводья приходится взять на себя самой поэтессе, снабдившей книгу полупутными очень короткими примечаниями. Такие пояснения оказались не лишними и для давнего почитателя ее музыки, а кроме того, она, усложнив, проложила еще одну смысловую перекличку автора внутри книги.

Ее путь в поэзии уже изрядно долгод: сначала самиздатское подполье, после этого двадцатилетие разрыва с отечественным читателем (вполне, впрочем, плодотворное), затем на самой заре гласности публикация в газете "Советский цирк" (это ли не ирония судьбы?), и вот — книга избранной лирики, чуть раньше — новая книга стихов "Набор", и теперь наконец новейшая: "Кто о чем поет".

Все эти три книги вкупе показывают, что менялось в поэтессе, от чего она с годами освобождалась и чему осталась верна.

Пой, Филомела!

Русская мысль. — Париж. — 1998. — 9-15 апр. — с. 14

Главная составляющая часть ее поэзии — музыка — оставалась в стихах всегда: и тематически, и образно, и в интонациях ее ритмов. Но если раньше это были отрывки симфонических звуковых потоков (именно отрывки, потому что крупные формы редко привлекали Горбаневскую), а затем некоторое время звучали импресси, ноктюрны и побудки, то в поздних стихах все отчетливее стала угадываться песня. При этом в ней выделился простой и трезвый элемент, выраженный в самом названии последней книги: "Кто о чем поет". А поет она, как и ее давние предшественники, русские парижане первой волны, о самом насущном: об одиночестве, любви и смерти.

"Не говори красно, не говори прекрасно", — закликает поэтесса свою музу, как бы повторяя слова Базарова.

Есть у нее очень не простое по смыслу стихотворение, помеченное 1978 годом, рисующее с ощущимой, даже какой-то выстраданной достоверностью образ трубача, раздувающего свои розовые щеки, "не разумея, что обрублен языковорун". Этот странный и многослойный образ вызывает одновременно несколько разнонаправленных размышлений. Прежде всего думаешь о поэте (музыканте, художнике, артисте) и цензуре. Для самой Горбаневской в годы, предшествующие ее эмиграции, это означало не компромиссы и коверканье неугодных редактору строчек, а полное и безоговорочное устранение ее из литературной жизни, вытеснение поэтессы в подполье, в нелегальщину, прочь из страны.

Но одновременно с этим смыслом возникает другой, менее очевидный: стихотворение высказывает идею (восходящую к платоническому учению) о принципиальной невозможности выразить истинно гармоническую небесную идею земными несовершенными средствами. Эта тема вызвала знаменитое тючевское восклицание: "Мысль изреченная есть ложь!" Эта же тема питает собой и

объясняет загадочный призыв Мандельштама: "Останься пенной, Афродита, / и слово в музыку вернись".

Как мы видим, она оказалась по силам и Горбаневской, и поэтесса вносит в нее новый смысл, который заключается в самоограничении, в своего рода "духовном обрезании" языка.

Мне уже приходилось высказывать эту идею, выраженную в самом заглавии моей заметки, когда-то напечатанной "PM": "О воде живой и мертвой". Суть там сводилась к тому же: живая вода свободно самовыражения должна быть сдобрена хотя бы одной каплей мертвой воды добровольного самоограничения. В стихах Горбаневской эта капля определенно присутствует, сообщая им аскетическую экономность, точность, философское целомудрие, какую-то словесную жилистость и мускулистость и соответственно изгоняя всякий "жир" речевой невостребованности. Если сопоставлять ее с современниками, то Горбаневская в этом смысле полярна таким фигурам, как, например, Ахмадулина и даже близкие ей в иных перспективах Бродский или Рейн.

Это умное "обрезание", проделанное с "говоруном", не может не сказаться на особых голосовых свойствах поэтического пения, оттого и прозрачная горошина раскатывается в ее произношении, а мы вправе задать вопросом не только "кто о чем поет", но и как исполняется эта песня. Сама поэтесса называет ее каноном, что сразу придает пению храмовое звучание.

*...Канон
мир огласи
голосом сим,
какой тебе ден
Господом сил.
От до до си.
От вершин до впадин.*

"От до до си" — вся гамма освоена этой песней. Заметим, однако, что в ней отсутствует верхнее "до", так же как и усеченные за их чрезмерностью всячес-

кие украшения и фиоритур. Все емко, экономно, насыщено смыслом. Но просто ли? Пожалуй, нет, потому что ее видимая простота чрезвычайно изощрена и изобретательна.

Поэтесса применяет оригинальный в каждом конкретном случае прием содержательного умолчания. Возьмем, например, простые, почти хрестоматийные строки:

*Вот моя деревня,
Приедешь — угоришь.*

Казалось бы, стихи как стихи, только как-то знакомо звучащие. И вдруг вспоминается суриковское, из букваря: "Вот моя деревня, / Вот мой дом родной, / Вот качусь я в санках / По горе крутой". Сразу же всплывает и другая присказка: "Париж, Париж: приедешь — угоришь". В результате буквально между строк прорастает новый, невысказанный и драматический смысл: эмигрантская судьба москвички, для которой теперь Париж стал родным домом.

Этот же прием двойного цитирования применяется Горбаневской каждый раз с неожиданным эффектом нового узнавания.

*Назначь мне свиданье
на севере диком,
где выюга рыдает
в просторе безликом...*

*Назначь мне свиданье
под пальмой горючей.
Где нас ожидает
Судьба, а не случай,*

*ступенька в застенок
и пуля в затылок.
Назначь мне свиданье
в двадцатом столетии.*

Здесь сразу же узнается классический лермонтовский перевод стихотворной притчи Гейне о невозможности встречи заснеженной северной сосны с ее мечтою — стройной пальмой аравийских песков. И сильный ударом по нервам та же трагическая тема звучит в цитате из Марии Петровых: "Назначь мне свиданье на этом свете, / Назначь мне свиданье в двадцатом столетии".

Этот плач-причитание по погибшему

поэту подруга Мандельштама, сама замечательнейшая поэтесса, напечатала в той же тетради "Дня поэзии", что упомянутая мною в самом начале. Новый смысл, высекать Горбаневской из столкновения цитат, не только напоминает о старом, но причитает и гласит о ее собственных потерях, об утратах — ее (и нашего) поколения.

Эстетическая сдержанность и философская трезвость, присущие Горбаневской, сказываются на еще одном элементе ее литературной жизни — на образе поэта, на его публичной позе, которая в ее случае никогда не превращается в статуарность памятника, а остается в человеческих пропорциях и пределах. И это не мешает высоте ее поэтического сознания, которому случается жить на просторе вечных и мировых тем. Оттого так естественно, хотя и дерзко, выглядит название стихотворного цикла, завершающего собой последнюю книгу Горбаневской: "Exegi monumentum".

Да, мысль горделивая, но и тут поэтесса разрешает ее неожиданным резким (и в то же время женственным) ходом, направленным "от обратного". Ее памятник не "тверже меди", как у Горация, а, наоборот, мягче воска. По существу он и есть воск, а точнее свеча, горящая, пока светит разум, жизнь и вдохновение.

...В том авторском "путеводителе", о котором я упомянул ранее, я обнаружил одно из своих давних посланий к Горбаневской, и в памяти отозвалось, как это было.

Однажды на Петроградской стороне в погожий весенний день 26 мая встретились два поэта. Один из них вспомнил, что в этот день родилась их московская сверстница и поэтесса. Другой привел подходящие для нее строчки из Жуковского: "По-еллински филомела, а по-русски соловей". Они чокнулись за ее здоровье, пошли на почту и отправили телеграмму: "ПОИ ФИЛОМЕЛА ПЕВЧЕЕ ДЕЛО НЕ ПРОМЕЯЕМ ПЬЕМ ВСПОМИНАЕМ БОБЫШЕВ НАЙМАН".

Это же пожелание остается в силе и сегодня.

ДМИТРИЙ БОБЫШЕВ

Шампэйн (Иллинойс, США)